

хотя и в самой общей форме, предыдущими исследователями⁶.

Трудно согласиться с автором и в вопросе о влиянии иранских религиозных воззрений на куль Юпитера Долихена. П. Мерля склонен в значительной мере тезисные монотеистические тенденции, которые заметны в этом культе, возводить к влиянию культа Ахура-Мазды. При всей скучности сведений о развитии религии на территории Ирана в послеахеменидское время, все же можно с определенностью говорить о наличии трех основных течений маздеистской религии⁷. Важнейшее место принадлежало последовательно дуалистическому направлению⁸, которое преобладало и после возникновения сасанидской державы на протяжении почти всего III в. н. э.⁹. Поэтому имеются все основания считать, что и на Запад маздеистские влияния проникали не в мо-

⁶ См., например, A. B. Cook, *Zeus. A Study in Ancient Religion*, т. I (*Zeus — God of the Bright Sky*), Cambr., 1914, стр. 607 сл.

⁷ R. Zehner, *The Dawn and Twilight of Zoroastrianism*, N. Y., 1961, стр. 178 сл.

⁸ J. Bidez, F. Cumont, *Les mages hellénisés*, т. I, Р., 1938, стр. 59.

⁹ Zehner, ук. соч., стр. 182 сл.

нистической, а скорее в дуалистической форме¹⁰. Доказательством тому служит факт, что в некоторых произведениях, открытых в районе Мертвого моря, заметно весьма сильное влияние дуалистического направления иранской религиозной мысли¹¹. Вероятно, в таком же направлениишло влияние не только на семитоязычный мир, но и на греческий¹². Это заставляет нас отказаться от положений, выдвинутых П. Мерля для объяснения тех монотеистических тенденций, которые так ясно прослеживаются в культе Юпитера Долихена.

Г. А. Кошеленко

¹⁰ Подтверждением этому могут служить довольно многочисленные посвящения deo Arimanio в святилищах Митры (CIL, VI, 47—Рим; CIL, III, 3414, 3415—Аквилею). Поскольку ни греки, ни римляне не использовали никогда для демонов термина θεός (deus), Ариман явно трактуется как божество.

¹¹ M. Viggows, *The Dead Sea Scrolls*, N. Y., 1956, стр. 374; Zehner, ук. соч., стр. 51 сл.

¹² См. R. Reitzenstein, H. Schaefer, *Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland*, Lpz—B., 1926.

НОВАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА О ТАЦИТЕ И СВЕТОНИИ

Моммзен не любил Тацита. Для него Тацит принадлежал к числу тех историков, которые «писали о том, что не нужно, и не писали о том, что нужно», как выражался он в предисловии к V тому «Римской истории». Такое отношение понятно. Апологет цезаризма XIX в., Моммзен не мог сочувствовать Тациту, разоблачителю цезаризма I в. Таковы же в конечном счете были взгляды и других историков того времени. Первые века Империи представлялись им эпохой мира, экономического расцвета и духовного оптимизма — иными словами, такой же эпохой, какой представлялся им их собственный век. Этот идеализированный образ императорского Рима был несовместим с мрачной атмосферой тацитовского повествования. Решено было, что Тацит ослеплен тенденциозным аристократическим консерватизмом и потому неспособен дать истинную картину времени. «Тацит — гениальный художник, но неудовлетворительный историк», — это общее место стало формулой отношения XIX века к римскому классику.

В XX веке положение изменилось. Историки, оказавшиеся современни-

ками двух мировых войн и двух фашистских диктатур, вынуждены были иными глазами огляднуться на времена Юлиев и Антонинов. Все темные стороны «золотого века Римской империи» стали вновь заметны и понятны, а Тацит из ослепленного пенавистника превратился в зоркого провидца. Началась реабилитация Тацита-историка. Ученым XIX в. казалось, что история была для Тацита лишь точкой приложения его художественного таланта; в представлении современных исследователей история оказывается для него зеркалом нравственно-го облика римского общества и областью применения собственного политического опыта. Рядом с традиционным образом «Тацита-художника» появились образы «Тацита-моралиста» и «Тацита-политика». По этим трем направлениям идет теперь изучение Тацита.

Ведущая роль принадлежит сейчас, несомненно, последнему, «политическому» подходу к изучению Тацита. К нему относятся два самых значительных исследования о Таците за последние полтора десятилетия — книги Этторе Парторе и Рональда Сайма.

Книга Параторе¹ вышла в свет в 1951 г.; писалась она в конце 40-х гг., и связь ее проблематики с событиями современности особенно заметна. «Мы, вышедшие из ужасающего циклона второй мировой войны, живущие в атмосфере грозящей трагедии, когда кажется, что вплотную чувствуешь колossalный кризис вековой цивилизации...», — говорит автор во введении в книге (стр. 25; ср. стр. 463). Такое же ощущение общественного кризиса видит он и у Тацита; меняющееся отношение Тацита к этому кризису и составляет предмет исследования.

Исходным пунктом политической эволюции Тацита автор считает «Агриколу». Это — апологетическая биография, аналогичная житиям Фрасен Пета или Аргулена Рустика; составляя ее, Тацит старается представить своего тестя таким же мучеником домициановского режима, какими были герои сенатского стоицизма. Это было передергкой: в действительности отношение Домициана к Агриколе всегда было достойным и почтительным и только непомерному честолюбию Агриколы (который, может быть, сам мечтал об императорской власти!) могло казаться оскорбительным. Таким образом, оппозиционность Агриколы была вызвана чисто личными мотивами и лишь под пением Тацита приобрела принципиальный характер. И Агрикола и Тацит были родом из Галлии (для Тацита это с достаточным правдоподобием предположено М. Гордоном — JRS, 1936, стр. 145—151), из числа тех провинциалов, которым империя открывала широкую дорогу к власти, и только случайности карьеры привели его в объятия сенатской оппозиции. Это сочетание трезвого опыта «нового человека» и традиционных взглядов старой аристократии и определяет своеобразие позиции Тацита; оно и диктует ему те две «стержневые темы», которые станут основными во всем его творчестве: «император и сенат» и «Рим и окраины империи». В «Агриколе» первая тема получает развитие в характеристике домициановского Рима, вторая — в описании британских войн.

От «Агриколы» Тацит переходит к «Историям». «Агрикола» был переломом от пессимистической мрачности домициановского гнета к светлым надеждам, пробужденным Нервой и Траяном; «Истории» стали развернутой программой этих надежд. Главное в этой программе — принцип монархии с преемственностью через усыновление; это компромисс между традициями Республики и нуждами Империи. Этот принцип провозглашается речью Гальбы в начале сочинения и осуществляется Нервой в его конце; там и тут этот идеал оттеняется мрачными

картинами гражданских войн и Домициановой тирании. К центральному образу Веспасиана отношение Тацита двойственно: дело Веспасиана благотворно, но совершено оно недостойными средствами (гражданская война вначале, династическая преемственность в конце). Ключом к проблематике «Историй» служит «тайны империи» — «posse principem alibi quam Romae fieri»; это проблема политическая, моралистический элемент всецело подчинен политике и лишь расцвечивает политически важные места. «Истории» — политическое исследование, рисующее не последовательность, а связь событий: даже погодное изложение (более строгое, чем в «Анналах») используется для того, чтобы охватить всю совокупность одновременных событий в их всепроникающей взаимосвязи. В понятии «тайны империи» сплетаются обе стержневые темы Тацита: рядом с темой императорской власти звучит тема провинций, представляющих Рим императоров; борьба германских войск Вителлия (и потом Цивилиса) с восточными войсками Веспасиана осмыслена как борьба Запада и Востока (мысль Нордена). Противопоставление дряхлеющего Востока и полного свежих сил Запада — двух возрастов, на переломе между которыми стоит Рим в свой кризисный год, — должно было быть выражено противопоставлением экскурса об Иудее в V книге и экскурса о Германии в IV книге, но последний разросся от избытка материала и выделился в самостоятельное сочинение — «Германию», род приложения к «Историям» (мысль Арнальди). Политический оптимизм «Историй» проявляется и в религиозно-философской концепции произведения: историей правит рок, *sata*, таждественный воле богов, покровительствующих своему Риму; этот рок может быть познан, но лишь традиционными римскими ауспициями, а не чужеземной астрологической наукой; понятие случая, *fors*, *fortuna*, хотя и упоминается часто, но обычно с оговорками, как бы не от лица автора.

Как «Истории» были выражением надежд, вызванных началом правления Траяна, так «Анналы» стали выражением разочарования при его конце. Тацит видел усиление монархической власти, покорность сената, засилье «новых людей» из провинций, нарастание греческих элементов в дорожной ему латинской культуре. Даже стояческая оппозиция уже не удовлетворяла Тацита: в ней слишком мало было от римского духа Катона и слишком много — от греческого духа Эпиктета. Греко-восточный деспотизм императора, греко-восточная идеология оппозиции — выхода для Тацита не было. В довершение усыпленный наследником Траяна оказался Адриан, человек греческой культуры, достигший усыпления прописками императрицы, как некогда Нерон. Политический идеал Тацита терпел крах. Его

¹ E. Paratore, Tacito, Milano — Varese, 1951, 850 стр. («Biblioteca storica universitaria», сер. II, т. 3).

оптимизм сменяется беспросветной мрачностью. Вместо того чтобы описать торжество добра при Нерве и Траяне, он ищет корни зла в истории Юлиев-Клавдиев. Его подход становится тенденциозным, вместо исторического анализа событий он дает их моралистическую оценку: из художественного оттенения морализм превращается в теоретический принцип. Политическая гибкость переходит в твердолобый аристократический консерватизм. Кругозор замыкается узкими рамками Рима, двора и императорского окружения. Единство событий теряется, описания войн не связываются с событиями в Риме, а противополагаются им. Историческое исследование перерождается в психологический роман или памфlet, анализ вытесняется риторическим шаблоном. Пессимизм распространяется и на религиозно-философские мотивы: прежняя концепция рушится, и Тацит беспорядочно мечется между *fata* и *fortuna*, между верой и безверием. И в идейном, и в художественном отношении «Анналы» представляют собой шаг назад по сравнению с «Историями».

От пессимизма к оптимизму и вновь к пессимизму — такова эволюция политических взглядов Тацита, намечаемая Параторе. Вместо статической системы «мироповедения Тацита», которую, пытаясь в противоречиях, старались выяснить прежние ученые, здесь возникает динамическая картина меняющихся и развивающихся взглядов, разом снимающая многие противоречия. Многие, но не все. И когда Параторе, увлеченный своей идеей, старается уложить в рамки этой схемы все без исключения политические высказывания Тацита, он неминуемо приходит к натяжкам. Ему приходится насильственно затушевывать пессимистический взгляд на Рим в «Германии», декларацию морализма в прологе «Историй», речь Клавдия в защиту *homines novi* в «Анналах», так как все это не укладывается в его схему. Более того, «Разговор об ораторах» с его пессимистическим финалом настолько не вяжется с общей картиной «оптимистического периода» Тацита, что Параторе вынужден объявить «Разговор» произведением подложным, не тацитовским. Недостатки содержания книги Параторе усугубляются недостатками изложения: бесконечное повторение основных тезисов вместо их обоснования, главное вперемежку со второстепенным, частые отвлекающие отступления, главы по двести страниц, абзацы по десяти, фразы по полторы страницы — книгу Параторе никак нельзя назвать удобочитаемой. Рецензенты не преминули отметить все эти недостатки, Параторе отвечал им антикритиками, пожалуй, слишком запальчивыми². Всем этим, однако, ни-

сколько не умаляется ценность книги Параторе. Она дала заметный толчок изучению Тацита: почти вся проблематика статей и книг последних лет о Таците задана ею.

Самый существенный недостаток работы Параторе не в этом. Параторе — филолог, а не историк; кроме текста Тацита, он не располагает никаким материалом; вместо того, чтобы поверять Тацита, он может только вчитываться в него и дополнять его сомнительными психологическими домыслами (например, о том, как жена Агриколы разжигала в муже честолюбивые мечты, стр. 96 сл.). «Консервативная сенатская аристократия» играет в книге Параторе большую роль, но ее конкретно-исторический облик не раскрывается нигде. Характеристику эпохи Траяна автор берет из вторых рук — по Парибени. А когда Параторе пытается построить общую теорию принципата, выведя все ее черты из нравственного понятия *pater patriae* (стр. 505; та трактовка, которую давал этому понятию Премерштейн, для Параторе «слишком социологична»), то это уже выглядит совершенно несерьезно.

Именно здесь самая глубокая разница между книгой филолога Параторе и книгой историка Сайма³. Параторе оставляет читателя наедине с Тацитом — Сайм передает его в эпоху Тацита. «Тацит» — первая большая книга Сайма после «Римской революции», которая четверть века назад была заметной вехой в изучении принципата. Долгий промежуток был заполнен для автора, главным образом, просопографическими исследованиями, время от времени появлявшимися в журналах. Результатом этих исследований явилось небывалое по богатству подробности изображение римского правящего сословия времен последних Флавиев и первых Антонинов. Сайм прослеживает пути и судьбы десятков сенаторов, ораторов, чиновников и военачальников, и судьба Тацита, одна среди многих, получает в этом контексте новое осмысление. Книга Сайма позволяет увидеть и оценить такие факты, как сенатская «геронтократия» при Нерве, когда у власти вновь стало поколение Вергилия Руфа, Вестриция Спуринны, Фабриция Вейентона; как своеобразная «флавианская реакция» при Траяне, который в основном продолжал

стр. 32—71; перепечатано в RCCM, 2 (1960), стр. 62—92; он же, *Ancora del Dialogus de oratoribus*, *«Humanitas*, Coimbra, 5/6 (1953—1954), стр. 1—54 (нам недоступно).

³ R. Syme, *Tacitus*, I—II, Oxf., 1958, 856 стр. Ср. он же, *The Senator as Historian*, *«Histoire et historiens dans l'antiquité*, Genève (*Entretiens sur l'antiquité classique*), Fondation Hardt, IV 1956), стр. 185—214; он же, *How Tacitus Came to History*, GaR (1957), стр. 160—167.

² E. Paratore, *Tacitea*, *«Anales de filología clásica*, Buen.-Air., 7 (1959),

завоевания и социальную политику не Нервы, а Домициана — иными средствами, но в том же направлении; как перелом от преобладания военных к преобладанию гражданских магистратур после смерти Лициния Суры и возышения Адриана; как посвящение «Разговора об ораторах» Фабию Юсту, оратору, оставившему красноречие для военной карьеры. Расплывчатый образ «сенатской аристократии» конкретизируется, детализируется, дробится, становится более сложным и противоречивым, но в то же время более исторически достоверным и правдоподобным.

В этой обстановке конкретных лиц и деловых интересов иной облик приобретает и сам Тацит. По сравнению с Тацитом Параторе, Тацит Сайма более практичен и поэтому более последовательно пессимистичен. Для него важны не принципы, а лица, не система наследования, а качества наследника; сарах *imperii* — вот его ключевое понятие. Речь Гальбы к Пизону не есть политическое кредо автора (как того хотел Параторе): все его добрые пожелания заранее скомпрометированы тем фактом, что Гальба — не настоящий сарах *imperii*. Благодаря политическому опыту у Тацита с самого начала не было никаких иллюзий насчет «добрых правителей»: его слова в «Агриколе» о соединении свободы и принципата — скептичны, его заявление в «Историях» о намерении описать блаженное время Нервы и Траяна — официальная лесть. Республикаанская терминология принципата для него лживы: он систематически пишет *potentia* вместо *auctoritas*, вовсе не упоминает *iustitia*, пронизывает над *clementia* и *pietas*. Может быть, главная причина фатального непонимания Тацитом Тиберия в том, что в искреннем стремлении аристократа Тиберия и еще живому для него идеалу аристократической республики Тацит уже мог видеть только жестокое лицемерие. Истинная проблема для Тацита — не выбор между монархией и республикой, а средний путь между твердолобым сопротивлением и пыжим сервиллизмом, умение быть полезным государству даже при дурном правителе. Именно такими героями являются для Тацита Агрикола, Вергиний Руф, Сенека, Петроний. Он не громит Агриколу под мучеников сенатской оппозиции (как думал Параторе), а, наоборот, противопоставляет его мудрую осторожность их бесполезному позерству. Это — оправдание того широкого слоя провинциальных *hominum novi*, который сделал карьеру при Домициане, был оттерт старосенатскими элементами при Нерве и вновь утвердился при Траяне; к нему принадлежали и сам Траян, и сам Тацит (который был назначен в супфекты 97 г. еще при Домициане). Это был важный этап в формировании новой имперской олигархии.

«Олигархия — главная центральная и сквозная тема римской истории. Через

революционный век она перебрасывает мост от аристократической республики к монархии цезарей; и процесс изменения правящего сословия по-прежнему продолжается в столетии между Августом и Траяном. По замыслу настоящей работы Тацит предстает как историк этого процесса и в то же время как звено его, как человеческий документ». Эти слова, которыми Сайм начинает свое исследование, помогают понять не только связь между темой «Римской революции» и темой «Тацита», но и повизуно его подхода к творчеству римского историка. Исследование Сайма развертывается одновременно в двух плоскостях — среди событий, переживаемых Тацитом, и среди событий, описываемых им. Между этими двумя рядами фактов Сайм находит замечательные совпадения: исторические труды Тацита оказываются прямыми откликами на события современности. Разрозненные аналогии между образами Гальбы и Нервы, Адриана и Нерона отмечались и у Параторе (стр. 271 сл., 469, 651), и у более ранних исследователей; Сайм кладет их в основу своей концепции. По его мнению, события 69 г. (Гальба, Пизон и Отон) и события 97 г. (Нерва, Траян и преторианцы, мстящие за Домициана) представляют собой полную аналогию: слабый император, угроза гражданской войны, мятеж гвардии, усыновление как выход, удавшийся в одном случае и неудавшийся в другом. Именно эта аналогия и побудила Тацита, супфекта 97 г., начать «Истории» январскими событиями 69 г. Точно так же и приход Адриана к власти заставлял вспомнить о начале правления Тиберия: и там и тут — возвышение наследника *per ihorium ambitum et senili adoptionem*, слухи о сокрытии смерти Августа и Траяна, отказ от завоевательной политики, расправа с возможными сарах *imperii* (убийство Агриппы Постума и казнь Адрианом четырех заговорщиков-консуляров — Корнелия Пальмы и др.); вдобавок эстетское эллинофильство Адриана сближало его с Нероном, а его покровительство всадникам и вольноотпущенникам — с Клавдием: «Адриан в своей разносторонности казался экстрактом всех цезарей от Тиберия до Нерона» (стр. 488). Отсюда — замысел «Анналов», которые, по мнению Сайма, были начаты Тацитом после азиатского проконсульства 112/113 г. и завершены (или оборваны смертью) не раньше 123 г.; хронологическую неувязку (получается, что первые книги «Анналов» с их памеками на Адриана писались еще до его воцарения) Сайм разрешает допущением позднейших вставок и переработок.

Таким образом, подобно Ювеналу, Тацит бичевал прошлое, думая о настоящем. В «Историях», при описании времен Домициана, ему приходилось говорить о темпом прошлом лиц, еще живущих; в «Анналах» — о темпом прошлом их отцов

и дедов. Сенатская хроника «Анналов» — это история вырождения и упадка древних аристократических родов; никакого сочувствия старой знати Тацит не выражает, и если он чтит ее великих предков, то лишь затем, чтобы осудить ничтожных потомков: «новый человек», он борется с аристократией ее же оружием. Но он не идеализирует и новую знать: он видит, что она с самого начала заражена порочностью имперского режима, и что ее роды обречены на еще более быстрое вырождение. Он беспристрастен, и поэтому его пессимизм безоговорочен.

Книга Сайма — одно из самых крупных событий в науке об античности за последние годы. Обилие собранного в ней материала поразительно. Только приложения к ней, посвященные, главным образом, отдельным просопографическим и источниковедческим вопросам, составляют 95 «аппендицсов» и занимают около 200 страниц мелкого шрифта. В этом огромном сочинении легко указать и на недостатки. Освещение многих вопросов неравномерно (например, лишь мимоходом затронута «Германия»); последовательность изложения чересчур прихотлива, к одним и тем же проблемам автор возвращается по нескольку раз (например, к вопросу о социально-политических взглядах Тацита или об отношении Тацита к Саллюстию); работы предшественников обычно разбираются слишком бегло, когда автор с ними не согласен, и совсем не разбираются, когда автор с ними согласен (Параторе не без основания жаловался, что многие его мысли считаются теперь мыслями Сайма). Еще более существенна, конечно, неизбежная зыбкость тех ювелирно выполненных просопографических реконструкций, на которых поконится вся картина эпохи, рисуемая Саймом: здесь слишком многое приходится предполагать и домысливать, из малых гипотез вырастают большие гипотезы, и даже такие важные эпизоды, как события 97 г., оказываются, в конечном счете, восстановленными правдоподобно, но недоказуемо. Сайм идет на это сознательно: «Реконструкция рискована; но конъектуры неизбежны, иначе не стоит и писать историю, так как она будет непонятна» (стр. V). Он не пытается выдать домыслы за факты и часто, подведя читателя, казалось бы, к самому разрешению проблемы, неожиданно оставляет вопрос открытым; этим достигается научная строгость, а блеск и смелость предшествующей аргументации безошибочно подсказывает читателю интуитивный вывод автора, — прием, конечно, заимствованный Саймом из арсенала Тацита. Поэтому в книге больше вопросов поставлено и рассмотрено, чем разрешено: «слишком много анализа и слишком мало синтеза», по удачному выражению Вюймьера⁴. Sug-

gestive, provocative — эти слова, плохо поддающиеся русскому переводу, чаще всего встречаются в рецензиях на работу Сайма⁵ и лучше всего определяют ее суть. Освоение и пересмотр материала, собранного Саймом, и проблем, намеченных им, только начинается, и исследование Тацита и его эпохи еще долго будет идти по путям, намеченным английским ученым.

Тацит-политик — герой работ Параторе и Сайма. Плодотворность «политического» подхода особенно заметна при сопоставлении с обоими другими подходами к изучению Тацита. Для одного из них, более нового, в центре внимания стоит Тацит-моралист; для другого, более традиционного, — Тацит-художник.

Первое из этих двух направлений берет начало от известной статьи Ф. Клингнера, появившейся в 1932 г.⁶; наибольшую популярность оно получило среди немецких ученых. Основные положения Клингнера таковы. Главное понятие в системе мировоззрения Тацита — *virtus*; главная причина трагизма его мировоззрения — несовместимость упаслевданного от республики идеала *virtus* и достигнутого империй идеала *ordo*. Это трагическое противоречие проникает все творчество Тацита от начала до конца, поэтому говорить об эволюции его взглядов наивно. Установка на *virtus* определяет цель исторических сочинений Тацита — донести до потомства *exempla virtutis* и *exempla viti* в образах действующих лиц. Та же установка определяет и метод Тацита: так как в обстановке империи понятия о добре и зле смешены лестью или страхом, то он пренебрегает логической связью явлений, лежащих на поверхности, и ищет иных связей, скрытых и иррациональных. Лучше всего это углубленное переосмысление фактов прослеживается при монографическом анализе отдельных отрывков текста. Форму такого анализа и принимает большинство работ, выполненных единомышленниками и продолжателями Клингнера. Сам Клингнер исследовал таким образом первый эпизод «Анналов» — конец Августа и воцарение Тиберия⁷. Другой разбор то-

⁵ Среди рецензий на книгу Сайма выделяется меткостью критических замечаний статья: A. N. Shergin-W hite, JRS, 49 (1959), стр. 140—146; отметим также заметку: C. Questa, Due recensioni saggi tacitiani, RCCM, 1 (1959), стр. 403—410, касающуюся главным образом вопроса об источниках Тацита. Ср. также M. Jaszunowska, Tacyt, «Kwartalnik historyczny», 67 (1960), стр. 740—746.

⁶ F. K l i n g n e r, Tacitus, «Die Antike», 8 (1932); перепечатано в кн. F. K l i n g n e r, Römische Geisteswelt, 3. Aufl., Münch., 1956, стр. 451—474.

⁷ F. K l i n g n e r, Tacitus über Augustus und Tiberius: Interpretationen zum

то же отрывка дал Э. Кестерманн⁸ по материалам подготовленного им комментария к «Анналам»; он же разобрал знаменитый экскурс в начале «Историй»⁹ и характеристику императора Гальбы в *Hist.*, I, 48¹⁰. К. Бюхнер дал анализ введения к «Агриколе»¹¹ и политической программы в речи Гальбы (в сопоставлении с ее вульгаризацией в «Панегирике» Плиния Младшего)¹². Вводную главу «Германии» разобрал Б. Мелин¹³. Композиционные средства, с помощью которых Тацит достигает нужного ему переосмысления событий, рассматривает на примере «Историй» М. Фурманн¹⁴. Из работ с более широким охватом материала следует отметить статью В. Иенса, который вносит в статическую схему Клингнера элемент эволюции, прослеживая развитие *libertas* (тесно связанного с понятием *virtus*) от «Агриколы» до «Анналов»¹⁵. Интересна также статья Клингнера, показывающая, что в ряду историков I в. Тацит был первым, для кого битва при Акции и смерть Августа были рубежами римской истории: ни в одном сочинении его предшественников эти события не служили ни началом, ни концом¹⁶.

В теории Клингнера можно заметить одновременное противоречие: с одной стороны, установка на *exempla*, видимо, сосредоточивает внимание историка на личностях его персонажей, с другой стороны, поиски истинных критериев добра и зла уводят его внимание к сверхличным причинам и силам, действующим в исто-

Eingang der Annalen, Münch., 1954, 45 стр. («Sitzb. d. Bayr. Akad. d. Wiss.», Philol.-hist. Kl., 1953, 7).

⁸ E. K o e s t e r m a n n , Der Eingang der Annalen des Tacitus, «Historia», 10 (1961), стр. 330—355.

⁹ E. K o e s t e r m a n n , Das Rückblick Tacitus Hist. I, 4—11, «Historia», 5 (1956), стр. 243—237.

¹⁰ E. K o e s t e r m a n n , Das Charakterbild Galbas bei Tacitus, «Navicula Chiloniensis: studia philologica Felici Jakoby... oblata», Leiden, 1956, стр. 191—206.

¹¹ K. B ü c h n e r , Das Prooemium zum Agricola des Tacitus, WSt, 69 (1956), стр. 321—343.

¹² K. B ü c h n e r , Tacitus und Plinius über Adoption des römischen Kaisers, RhM, 98 (1955), стр. 289—312.

¹³ B. M e l i n , Zum Einganskapitel der Germania, «Eranos», 58 (1960), стр. 112—131.

¹⁴ M. F u h r m a n n , Der Vierkaiserjahr bei Tacitus: über den Aufbau der Historien, Buch I—III, «Philologus», 104 (1960), стр. 250—278.

¹⁵ W. J e n s , Libertas bei Tacitus, «Hermes», 84 (1956), стр. 331—352.

¹⁶ F. K l i n g n e r , Tacitus und die Geschichtsschreiber des I. Jh. n. Chr., MH, 15 (1958), стр. 194—206.

рии. В работах последователей Клингнера это противоречие становится еще заметнее. Роль личности в историографии Тацита усиленно подчеркивал П. Клох-Корниц¹⁷: по его мнению, атмосфера все-проникающего лицемерия в исторической картине Тацита объясняется именно тем, что действия людей, детерминированные связью событий, не совпадают с характерами людей, с их *virtutes* и *vitia*, врожденными и неизменными; задача историка — вскрыть эти характеры, выявить их в проявлениях, внешне незначительных, но внутренне типичных, и этим сделать из них *exempla*. С серьезными оговорками к той же точке зрения примыкает Курт фон Фриц¹⁸: он не принадлежит к последователям Клингнера и вместо моральных мотивов выдвигает на первый план политические, но и он согласен, что в отличие от великих греческих историков (Фукидида, Полибия, Посидона) Тацит не умел видеть безличные силы в истории и слишком многое приписывал тайной воле своих героев. Противоположную точку зрения особенно энергично защищает Виктор Пёпль¹⁹. Для него гениальность Тацита в том и состоит, что от изображения конкретной прагматики действий конкретных лиц он поднялся к изображению исторической атмосферы, безличных иррациональных сил, движущих историю; личность для Тацита — лишь точка приложения политических и психологических сил окружения, действия личности — лишь звено в бесконечной последовательности взаимодействий со средой. «Его сочинения можно рассматривать как феноменологию политики, которой он по сравнению с его предшественниками придал новое измерение — в сторону подспудного и демонического начала, которое заложено в политической жизни и в человеке, тех таинственных элементов, которые определяют атмосферу политической ситуации и исторической эпохи, тех темных сил, которые отсюда возникают» (стр. 10). Эта политическая интуиция делает Тацита не более и не менее, как пророком: известные слова Germ., 33 (*urgentibus impre-rii fatis...*) означают не что иное, как предвидение гибели Римской империи за три-

¹⁷ P. v. K l o c h - K o r n i t z , Geschichtsauffassung und Darstellung bei Tacitus, «Die Welt als Geschichte», 21 (1961), стр. 158—163; он же, Das Bild des Tiberius: bei Tacitus: Methode und Problematik, «Sozialökonomische Verhältnisse im alten Orient und im klassischen Altertum», B., 1961, стр. 180—186.

¹⁸ K. v. F r i t z , Tacitus, Agricola, Domitian, CP, 52 (1957), стр. 73—97.

¹⁹ V. P ö s c h l , Der Historiker Tacitus, «Welt als Geschichte», 22 (1962), стр. 1—10.

ста лет²⁰. Ливий славил провиденциальное возвышение Рима, Тацит предрекает его роковое крушение: между ними такое же отношение, как между светлым эпосом Вергилия и мрачной поэмой Стация о гибели Фив²¹. Такое демонологическое существо и такие далеко идущие выводы вызвали протест даже у единомышленников Пёшля и Клингнера. Карл Бюхнер опубликовал заметку²² с разъяснением, что *urgentibus imperii fatis* в контексте «Германии» означает только то, что с концом свободы кончились внутренние сплы Рима, *ergo fata* из двигателя стали бременем, и он более не господин своей судьбы, а зависит от обстоятельств; но о грозящей гибели здесь нет и речи. А высокомерное пренебрежение филологов к «примитивному рационализму» pragматической истории вызвало заслуженную отповедь со стороны первых исследователей Тацита-политика — И. Фогта и Х. Дрекслера²³. «Или филологам не следует браться за такой предмет, или они должны стать историками, чтобы понять Тацита, как философами — чтобы понять Платона», — пишет Дрекслер. В действительности, конечно, причину заблуждений клингнеровской школы следует искать не в филологии, а в методологии.

Понятие *fatum* у Тацита привлекает внимание исследователей и в других контекстах. Знаменитое сопоставление случайности и предопределенности в *Ann.*, VI, 22 послужило отправной точкой для большой статьи В. Тайлера о судьбе и свободе воли в пощении поздних философов²⁴, каждая из упомянутых Тацитом теорий освещена здесь многочисленными параллелями, но столкновение их в мировоззрении Тацита осталось не

²⁰ V. Pöschl, Tacitus und die Untergang der römischen Reiches, WSt, 69 (1956), стр. 310—320.

²¹ E. Bürck, Die Schicksalsauffassung des Tacitus und Statius, «Studies Presented to D. M. Robinson», II, St. Louis, 1953, стр. 693—706. Cp. L. Alfonsi, Della concezione del destino in Tacito e Stazio, «Aevum», 28 (1954), стр. 175—177.

²² K. Büchner, Hat Tacitus geglaubt der Untergang des römischen Reiches stehe unmittelbar bevor? «Theoria: Festschrift für W. H. Schuhhardt», Baden-Baden, 1960, стр. 43—48.

²³ J. Vogt, Die Geschichtsschreibung des Tacitus, sein Platz im römischen Geschichte und ihr Verständnis in der modernen Forschung, в кн. J. Vogt, Orbis, Freiburg — Basel — Wien, 1960, стр. 128—148; H. Drexler, Zur Geschichte Kaiser Othos bei Tacitus und Plutarch, «Klio», 37 (1955), стр. 177 сл.; cp. «Gnomon», 28 (1956), стр. 527

²⁴ W. Theiler, Tacitus und die antike Schicksalslehre, «Phyllobolia für Peter v. d. Mühl zum 60. Geburtstag», Basel, 946, стр. 35—90.

показанным; предположение Тайлера о том, что наставником Тацита в учении о причинах был платоник Гай, учитель Альбина, было принято к сведению как гипотеза, но поддержки не получило. В конечном счете исследователи сходятся на том, что в основе мировоззрения Тацита, несмотря на всю непоследовательность его высказываний, лежит стоическое представление о роке: если Тацит наряду с *fatum* говорит и о *fortuna*, то это — лишь тот аспект, в каком открывается рок для людской недальновидности²⁵; если он упоминает об *aequitas deum erga bona malaque documenta* (*Ann.*, XVI, 33), то это — не эпикурейское «равнодушные» богов, а стоическое «равновесие» добра и зла в мире²⁶; если у него встречаются скептические высказывания о роке, то они относятся не к истинному року, непознаваемому для людей, а к тому представлению о роке, которое можно создают себе люди в угоду собственным желаниям и страсти²⁷. Сложные колебания Тацита в религиозно-философских вопросах особенно видны при сравнении с легкомысленным благочестием Плиния²⁸ и во всяком случае не могут быть сведены к поверхностному позитивизму, как то пытаются показать И. Бегэн²⁹.

Особое положение на стыке «политического» и «моралистического» подхода к Тациту занимает книга А. Бриссмана «Тацит и флавианская картина истории»³⁰. В *Hist.*, II, 101, 4 Тацит писал: «Авторы, оставившие описание этой войны в пору, когда у власти был род Флавиев, льстиво выдавали за ее причины заботу о мире и любовь к государству...». Эту официозную версию событий 69—70 гг. и реконструирует автор (на основании, главным образом, Иосифа Флавия и отчасти Светония и Диона), чтобы сопоставить с ней концепцию «Истории» Тацита. Сопоставление охватывает пять узловых моментов возвышения Флавиев: прокламацию Вес-

²⁵ J. Lacroix, Fatum et Fortuna dans l'œuvre de Tacite, *REL*, 29 (1951), стр. 247—264.

²⁶ P. Grénaire, Le pseudo-épicurisme de Tacite, *REA*, 55 (1953), стр. 30—37.

²⁷ A. Michel, La causalité historique chez Tacite, *REA*, 61 (1959), стр. 96—106.

²⁸ J. Beaujeu, La religion de Pline le Jeune et de Tacite, *IL*, 8 (1953), стр. 149—155.

²⁹ P. Beguin, La personnalité de l'historien dans l'œuvre de Tacite: son esprit positiviste, *AC*, 22 (1953), стр. 322—346; он же, Le positivism de Tacito dans sa notion de *fors*, *AC*, 24 (1955), стр. 352—371.

³⁰ A. Briessmann, Tacitus und das flavische Geschichtsbild, Wiesbaden, 1955, 105 стр. («Hermes», Einzelschriften, H. 10).

пасиана, измену Цецины, подход Антония Прима, столкновение Вителлия с Флавием Сабином, правление Муциана с восстанием Цивилиса. Полемика Тацита с флавианскими панегиристами идет по двум линиям. Во-первых, Тацит отвергает тенденциозный образ Веспасиана — бескорыстного спасителя и благодетеля империи: так, Тацит первый относит говор Веспасиана и Муциана не ко времени после убийства Гальбы, а ко времени тотчас после гибели Нерона, т. е. делает Веспасиана не избавителем Рима от гражданскою войны, а одним из ее поджигателей; так, он приписывает роль Домициана, идеализированного Иосифом Флавием; так, при описании осады Капитолия Тацит вдается в необычные топографические подробности, чтобы показать, что поджог был выведен не только вителлианцам (при первом приступе), но и флавианцам (при втором приступе), так что в пожаре храма одинаково повинны обе партии. Во-вторых, Тацит отвергает упрощенный pragmatism, вместо логического сцепления событий вскрывает их психологическое единство, вместо доброй или злой воли отдельных лиц выдвигает необоримое настроение масс: так, измена Цецины мотивируется не заботой о государстве (как утверждали его друзья) и не страхом поражения (как утверждали его враги), а давней завистью к сопернику — Валенту; так, в разорении Кремоны повинен не Антоний Прим (официальная версия) и не Горм, агент Веспасиана (версия Мессаллы), а озлобление войска, подсундная сила, которую флавианцы выпустили на волю и не сумели обуздать; так, в столкновении Сабина и Вителлия перед нами предстают не герой и тиран, а два человека, одинаково пассивные и лишь против воли влекомые потоком событий к роковойвязке. Первая из указанных двух тенденций освещается автором вполне в духе теории «Тацита-политика», вторая — в духе теории «Тацита-моралиста», и это неминуемо порождает внутренние противоречия: хотя все факты, собранные и рассмотренные в исследовании, свидетельствуют о твердой политической позиции Тацита, все же автор заявляет: «Нельзя забывать, что точка зрения Тацита — выше партийных...» и т. д. (стр. 105). Этим заметно снижается несомненная ценность работы Бриссмана.

Самое традиционное из существующих направлений в изучении Тацита, направление, подходящее к Тациту как к художнику-ритору прежде всего, представлено в литературе последнего десятилетия книгами Г. Вальзера и Б. Уокера. Наиболее последовательно держится этой точки зрения Г. Вальзер в своей монографии с подзаголовком: «Этюды к вопросу о достоверности Тацита»³¹. Вальзер вновь

повторяет, что в описании событий Тацит стремится не к фактической точности, а к развертыванию стандартной риторической тошки. Это видно в изображении кампаний Агриколы, Корбулона, Германника; но особенно ярко это видно в изображении варварских народов, которым у Тацита приписывается чисто римский склад мышления. Примером может служить восстание Цивилиса, разобранное в книге Вальзера подробнее и интереснее всего. По мнению автора, это не было национальное восстание галлов и германцев против Рима: германцы I в. были разрознены и бессильны, не имели сознания национального единства, не представляли опасности для римлян и охотно шли к ним на службу; мысль о создании галло-германской империи не могла зародиться в уме германского вождя и была приписана Цивилису римскими историками. В действительности восстание Цивилиса — не что иное, как эпизод гражданской войны 69—70 гг.: Цивилис начал восстание как агент Веспасиана в тылу Вителлия, а после падения Вителлия сам решил выступить против Веспасиана пятым претендентом на императорский престол; флавианские историки (Плиний Старший), стремясь представить власть Веспасиана общепризнанной и неколебимой с самого начала, затушевали эти мотивы, превратив восстание из *bellum civile* в *bellum externum* (ср. трактовку восстания Антона Сатурнина при Домициане, CIL, VI, 1347). Реконструкция Вальзера правдоподобна, но все же она остается не более чем остроумной гипотезой (об этом еще раз напоминает недавняя статья П. Бранта³²), а его изображение римско-германских отношений явно страдает недооценкой борьбы покоренных германских племен против Рима. Это — естественная реакция современного ученого против фашистской идеализации «свободолюбивых германцев» (см. полемическое примечание на стр. 104), но в своем протесте Вальзер, несомненно, впадает в противоположную крайность.

Книга Бесси Уокер об «Анналах» Тацита³³ представляет собой попытку углубить концепцию «Тацита-ритора», подведя под нее психологическое обоснование. Большую часть книги занимает старательно сделанный, но слишком уж не новый анализ приемов, с помощью которых Тацит придает изображаемым фактам такое

schreibung des frühen Kaiserzeit: Studien zur Glaubwürdigkeit des Tacitus, Basel, 1951, 183 стр.

³² P. A. Brunt, Tacitus on the Batavian Revolt, «Latomus», 19 (1960), стр. 494—517.

³³ B. Walker, The Annals of Tacitus: a Study in the Writing of History, Manchester, 1952, 284 стр.

³¹ G. Wälzer, Rom, das Reich und die fremden Völker in der Geschichtsschreibung des frühen Kaiserzeit: Studien zur Glaubwürdigkeit des Tacitus, Basel, 1951, 183 стр.

трагическое звучание, какого они не имели бы вне контекста. В качестве примера подробнее всего разбираются сообщения Тацита о процессах *maiestatis* при Тибери (материал, уже исследованный в свое время Роджерсом, с которым автор сходится почти во всех выводах³⁴). Чем вызвано это стремление Тацита представить императорский Рим в столь мрачном свете? — спрашивает исследовательница и отвечает: самозащитой и самооправданием. Тацит сделал свою политическую карьеру в годы домициановского террора; он не запятнал себя участием в императорских преступлениях, но слишком зыбка была грань между умеренным оппортунизмом Тацита (и Агриколы) и безудержным раболепием доносчиков, и Тацит чувствовал на себе ответственность за все ужасы репрессий (*Agr.*, 45, 2: *nostrae duxere Helvidium in carcere manus, nos... innocentis sanguine Senecio perfudit...*). Чтобы оправдаться, он хочет показать, что его поведение было единственным возможным в такое время, и рисует картину разложения римского общества под влиянием деспотизма — картину, в которой нет места для действенного протesta, в которой персонаж может быть или оппортунистом (таким, как Сенека, или таким, как доносчики) или жертвой (такой, как Корбулон, или такой, как Фрасея). Детализируя эту психологическую концепцию, автор даже определяет психологический тип Тацита по Юнгу («интуитивный» тип в противоположность «чувственному») и даже намечает схему «объективации душевных движений» автора в образах тирана, оппортуниста, жертвы и т. д. — неожиданный в наши дни пример аллегорического толкования, достойного пергамской школы (правда, к чести автора, оно предлагается лишь как гипотеза, в примечании на стр. 293 сл.). В целом книга Уокер пытается объяснить Тацитиста — Тацитом-человеком, т. е. спорное — неизвестным; никакого научного значения, конечно, такое объяснение не имеет. Тем не менее оно имело некоторый успех: П. Бегэн одобрил (хотя и с оговорками) психологический метод Уокера³⁵, а А. Бардон опубликовал небольшой этюд, в котором, почти так же как Уокер, утверждает, что сочинение истории было для Тацита прежде всего средством обрести

³⁴ Ср. новые статьи Роджерса по тому же вопросу: R. Rodger, A Tacitean Pattern in Narrating Treason-Trials, «Transact. a. Proc. of Amer. Philol. Assoc.», 83 (1952), стр. 277—311 (нам недоступна); он же, The Tacitean Account of a Neronian Trial, «Studies Presented to D. M. Robinson», II, 1953, стр. 711—718.

³⁵ P. Beguin, Psychologie et vérité historique: reflexions sur un recente ouvrage de critique tacitaine, AC, 23 (1954), стр. 418—425.

катарсис — успокоение от терзаний его *ira et studium*³⁶.

Из мелких работ, примыкающих к «риторическому направлению» в изучении Тацита, наибольший интерес представляет статья Ж. Кузена³⁷; ее достоинство в том, что автор не ограничивается указаниями на отдельные риторические приемы, применяемые Тацитом, а находит в риторике общее понятие, определяющее всю их систему: это понятие *δείγματος*, пагнетание настроения, которое должно убедить там, где не убеждают факты (Quint., IX, 2, 64; VIII, 3, 83; VI, 2, 23); следствием этого и является противопоставление видимости и действительности, намерений и действий и прочие тацитовские черты. Остальные статьи не поддаются до таких обобщений: обычно они лишь указывают и комментируют отдельные случаи тенденциозного искажения фактов у Тацита. Две такие статьи посвящены «Агриколе»³⁸; три статьи — линской речи Клавдия³⁹: К. Уэлсли и Ф. Фитцгоф осуждают приемы тацитовской обработки источников, Н. Миллер берет Тацита под защиту. Наиболее сурова к Тациту статья Ф. Хамиля, открыто провозглашающая возврат к взглямам XIX в.⁴⁰; впрочем, сам автор признает, что его позиция «мало соответствует духу времени» (стр. 89). Любопытные мелочи отмечает В. Аллен, выделяя эпические мотивы в главах о Германике и тенденциозное переосмысление придворных обычая в главах о Тибери и Нероне⁴¹. С. Дейц предлагает классификацию приемов портрета у Тацита, недостаточно полную и недостаточно стройную⁴². Более внимательно рассматривает способы построения характера у Тацита монография

³⁶ H. Bardeon, Points de vue sur Tacite, RCCM, 4 (1962), стр. 282—293.

³⁷ J. Cousin, Rhétorique et psychologie chez Tacite: un aspect de la «deinosis», REL, 29 (1951), стр. 228—247.

³⁸ F. Grossi, Tendenziosità dell' Agrikola, «In memoriam A. Beltrami», Genova, 1954, стр. 97—145; T. A. Dorey, Agricola and Domitian, GaR, 7 (1960), стр. 66—71.

³⁹ K. Wellesley, Can You Trust Tacitus? GaR, 1 (1954), стр. 13—35; F. Vittinghoff, Zur Rede des Kaiser Claudius, «Hermes», 82 (1954), стр. 348—371; N. P. Miller, The Claudian Tablet: a Reconsideration, RhM, 99 (1956), стр. 304—315.

⁴⁰ F. Hammel, Beiträge zur Beurteilung des Historikers Tacitus, «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 3 (1952), стр. 89—102.

⁴¹ W. Allen Jr., Epic and Etiquette in Tacitus Annals, «Studies in Philology», N. Carolina UP, 58 (1961), стр. 557—572.

⁴² S. G. Daitz, Tacitus Technique of Character Portrayal, AJP, 81 (1960), стр. 30—56.

В. Александера⁴³. Автор настаивает на том, что для Тацита, как и вообще для античной этики, характер человека был комплексом качеств врожденных и неизменных, способных раскрываться, но не развиваться; поэтому Тациту удавались статические образы черных злодеев и светлых героев (Агрикола), но, например, образ Сенеки с его сложной душевной эволюцией не мог уложиться в такую схему и потому так и не получил в «Анналах» достойного места и последовательной характеристики. К сожалению, автор сильно снижает ценность своих наблюдений назойливым сближением (и даже отождествлением) метода Тацита с методом Литттона Стрэчи — наивный образец самой антиисторической модернизации. Упрощением выглядит и основной тезис автора: в действительности в этической концепции Тацита противоречиво сосуществуют элементы двух учений — о том, что характер бывает хорошим или дурным от рождения, и о том, что характер способен портиться под разлагающим влиянием власти (ср. App., VI, 48 и VI, 51 — о Тибери); за каждым из этих учений стоит научная традиция. Подступом к детальному рассмотрению этого сложного идеиного комплекса может служить диссертация К. Бергена о характерах у Тацита и Плутарха⁴⁴.

С «риторическим» направлением в изучении Тацита отчасти связаны и работы о тацитовском стиле. В 20—30-х гг. трудаами шведской школы была выяснена схема эволюции языка Тацита — постепенное нарастание своеобразия от «Разговора об ораторах» до «Историй» и первых книг «Анналов» и затем частичный возврат к классической лексике в последних книгах «Анналов». Из работ, продолжающих эту линию исследования, особенный интерес представляет статья Р. Мартинса⁴⁵, где автор показывает, что эта эволюция лексики не сопровождается эволюцией синтаксиса: *variatio*, т. е. несходное построение второстепенных членов предложения, остается у Тацита неизменно употребительной с начала до конца, и именно благодаря ей поздние книги «Анналов» сохраняют традиционную «тацитовскую» окраску. Другое направление развития стилистических исследований

помечает диссертация Ф. Кунца⁴⁶. В свете последних работ о языке Саллюстия, Ливия и других историков начинает вырисовываться общая традиция языка римской историографии, со времен античников унаследованного эпическую вышенность слова и обилие поэтизмов и архаизмов. К этой традиции примыкает и Тацит; и в этом контексте особенности его стиля осмысляются гораздо легче, чем в сопоставлении с нормами «классической» цицероновской латыни, развивавшимися в ином, в ораторском жанре. Вообще, самые понятия «золотой» и «серебряной» латыни еще подлежат серьезному пересмотру с точки зрения жанровых традиций языка.

Однако преимущественным вниманием исследователей пользуется сейчас не эта, лингвистическая, сторона стиля, а его выразительная функция, связь с содержанием — «внутренний аспект стиля Тацита», по выражению Э. Лёфштедта в одной из его последних работ⁴⁷. В этом аспекте рассматривает Ф. Клингер две главы из «Анналов»⁴⁸; В. Хартке⁴⁹ и В. Фридрих⁵⁰ показывают, как стилистическими средствами Тацит отмечает связь событий, pragmatische между собой не связанных; Ф. Борн раскрывает сложные смысловые ассоциации, заложенные в вергилианских реминисценциях Тацита⁵¹. До крайности доходит в этом отношении, по-видимому, работа А. Сальваторе, известная нам лишь по рецензиям⁵². Для Сальваторе в стиле нет никаких общих норм, традиций и тенденций: каждый отдельный стилистический оборот выражает у Тацита особенное движение души; его исследова-

⁴⁶ F. Kuntz, Die Sprache des Tacitus und die Tradition der lateinischen Historikersprache, Inaug.-Diss., Heidelberg, 1962, 178 стр.

⁴⁷ E. Loeffstedt, On the Style of Tacitus, JRS, 38 (1948), стр. 1—8.

⁴⁸ F. Klinger, Beobachtungen über Sprache und Stil des Tacitus am Anfang des 13. Annalenbuches, «Hermes», 83 (1955), стр. 187—200.

⁴⁹ W. Hartke, Der retrospektive Stil des Tacitus als dialektisches Ausdrucksmittel, «Klio», 37 (1959), стр. 179—195.

⁵⁰ W. H. Friedrich, Eine Denkform bei Tacitus, «Festschrift Ernst Kapp zum 70. Geburtstag... überreicht», Hamburg, 1958, стр. 135—144.

⁵¹ F. C. Bourne, Poetic Economy in the Annals of Tacitus, CJ, 46 (1950/1951), стр. 171—176.

⁵² A. Salvatore, Stile e ritmo in Tacito, Nap., 1950; см. H. Bardone, Style et psychologie: a propos d'une nouveau livre sur Tacite, «Latomus», 11 (1952), стр. 348—356; L. Ferrerio, «Rivista di filologia classica», 30 (1952), стр. 74—80; V. Cremona, «Aevum», 27 (1953), стр. 179—183.

⁴³ W. H. Alexander, The Tacitean *non liquet* on Seneca, Berkley, 1952 («Univ. of Calif. Publications in Class. Philology», т. 14, № 8, стр. 269—386); см. же, The Psychology of Tacitus, CJ, 47 (1952), стр. 326 слл.

⁴⁴ K. Bergesen, Charakterbilder bei Tacitus und Plutarch, Inaug.-Diss., Köln, 1962, 98 стр.

⁴⁵ R. H. Martin, Variatio and the Development of Tacitus' Style, «Eranos», 51 (1953), стр. 89—96.

ние — это длинный ряд примеров с их импрессионистическим толкованием, подчас очень тонким; ему удается подметить случаи повторения аналогичных синтаксических ходов, стилистических фигур, ритмических клаузул в аналогичных психологических ситуациях; но когда автор, противореча сам себе, пытается выявить в этом многообразии какие-то общие черты, все его обобщения оказываются неубедительными, так как против его примеров психологических совпадений столь же легко выдвинуть примеры несовпадений. Крочеанская методика автора оказывается хороша для эстетической оценки, но непригодна для филологического исследования.

На стыке «риторического» и «моралистического» направлений в изучении Тацита занимает место большая монография А. Мишеля⁵³, посвященная «Разговору об ораторах». С клингнеровским направлением автор смыкается в трактовке основного вопроса — положения Тацита между красноречием и историей. Главная черта в системе взглядов Тацита — это представление о непрестанном упадке нравов и утрате древней *virtus*. Чем хуже становятся нравы, тем труднее поддерживать общественный порядок (ср. Ann., III, 25—28); во времена Цицерона это еще было под силу свободному красноречию, теперь это под силу только императорской власти; во времена Цицерона мыслящий человек считал своим долгом вмешиваться в общественную жизнь и активно возбуждать *virtus* в согражданах, теперь мыслящему человеку остается только отойти от общественной жизни и пассивно прославлять *virtus* былых времен в стихах, как Матери, или в истории, как Секунд и как сам Тацит. Таким образом, Тацит ставит в «Разговоре» ту же проблему, которую ставил в своих трактатах Цицерон, — каким образом *sapientia* должна находить свое выражение в *actio*? — и ставит ее в тех же цицероновских категориях, но решает противоположным образом. Развернутое сопоставление взглядов Тацита со взглядами Цицерона позволяет автору в ряде случаев раскрыть интересное соответствие ораторской программы Цицерона и историографической практики Тацита, — например, в том, что касается скептического предпочтения, отдаваемого «правдоподобному» перед «фактическим», или в трактовке «страстей»; здесь, таким образом, автор смыкается уже с «риторическим» подходом к Тациту.

В своей книге Мишель во многом выступает продолжателем К. Барвика, который несколькими годами раньше поставил в небольшой, но содержательной ра-

боте⁵⁴ те же два основных вопроса — о причинах обращения Тацита к истории и о его полемике с предшествующими теоретиками красноречия. При этом Барвик брал для сопоставления с Тацитом не Цицерона, а Квинтилиана (отождествляя даже с чрезмерной прямолинейностью Маттерна с Тацитом, а Мессалу с Квинтилианом), и это представляет полезный корректив к работе Мишеля, который вовсе оставляет без внимания такую важную ступень между Цицероном и Тацитом, какой, несомненно, был Квинтилиан. В приложении Барвик касается большого вопроса о лакунах после гл. 35; вместе с большинством ученых он считает, что лакуна была «малой» — не в листах, а только в столбцах и, следовательно, не могла поглотить ничего существенного для понимания «Разговора». Противоположное мнение отстаивают К. Фрецка⁵⁵ и В. Рихтер⁵⁶: первый обосновывает объем «большой лакуны» тщательными арифметическими подсчетами, второй — на основании параллелей с Vell., I, 16; Sen., Contr., I гр., 6; Ps. Long., 44, 1—2 пытается восстановить содержание речи Секунда, выпавшей в «большой лакуне»: фатальное, не зависящее от воли людей оскудение талантов в век духовного упадка. Гипотеза Рихтера остроумна и логична, но вряд ли способна переубедить теоретиков «малой лакуны».

Интерес исследователей к «Разговору об ораторах» оживился, главным образом, с тех пор как Параторе вновь поставил под вопрос принадлежность этого произведения Тациту. Параторе старается быть объективным: он приписывает 9 доводов за и 13 доводов против тацитовского авторства (главным образом, совпадения и несовпадения с суждениями «подлинно тацитовских» произведений об отдельных лицах и предметах) и приходит к выводу, что решающим критерием все-таки остается стиль, и этот критерий говорит против авторства Тацита: «Разговор» написан каким-то другим лицом из кружка Плиния, может быть, — Титинионом Ка питоном. Это радикальное решение не встретило одобрения: только Леон Эрманн со своей неизменной страстью к переатрибуциям латинских памятников поспешил провозгласить, что, по его мнению,

⁵³ A. Michel, *Le Dialogue des orateurs de Tacite et la philosophie de Cicéron*, P., 1962, 234 стр. («Etudes et commentaires», t. 44).

⁵⁴ K. Barwick, *Der Dialogus de oratoribus des Tacitus: Motive und Zeit seiner Entstehung*, B., 1954, 42 стр. («Berichte d. Sachs. Akad. d. Wiss.», Philol.-hist. Kl., t. 101, вып. 4).

⁵⁵ K. Vretzka, *Das Problem der Lücke und der Secundusrede im Dialogus de oratoribus*, «Emerita», 23 (1955), стр. 182—210.

⁵⁶ W. Richter, *Zur Rekonstruktion des Dialogus de oratoribus*, «Nachr. d. Götting. Akad. d. Wiss.», Philol.-hist. Kl., 1961, стр. 387—425.

«Разговор» есть не что иное, как утраченное сочинение Квинтилиана *De causis corruptae eloquentiae*⁵⁷. С обстоятельным опровержением Параторе выступил А. Бардон, заново пересмотревший весь список доводов за и против, предложенных Параторе⁵⁸; вслед за ним Ж. Фро дополнил этот список сводкой доводов, выдвигавшихся прежними исследователями⁵⁹; оба автора пришли к выводу, что ни один из аргументов «от содержания» не может быть решающим, что разница стиля достаточно объясняется разницей жанра⁶⁰ и что единственный факт, решающий спор в пользу Тацита, — это письмо Плиния IX, 10 с его реминисценцией из «Разговора», 9 (*in nemore et lucos...* — впервые отмечено Ланге и Хаазе). Параторе отводил этот довод предположением, что письмо IX, 10 написано не Плинием, а Тацитом в ответ на письмо I, 6, — предположением заведомо фантастическим; его поддержал только А. Маццирино, допустив, что словесное совпадение восходит к общему источнику, по-видимому, стихотворному⁶¹, — но и это мнение малоправдоподобно. Таким образом, традиционное представление о том, что «Разговор об ораторах» написан Тацитом, осталось непоколебленным.

Более спорным остается вопрос о дате «Разговора». Правда, господствовавшая в XIX в. ранняя датировка «Разговора» (до 81 г.) отвергнута, как кажется, окончательно: последние попытки вернуться кней были сделаны в статьях В. Капоччи и П. Смиралья⁶², но успеха не имели. *Terminus post quem* для «Разговора», по общему мнению, — 96 г., время появления *Institutio oratoria* Квинтилиана, ответом на которую и является сочинение Тацита. Это положение было убедительно обосново-

⁵⁷ L. Herrmann, Quintilian et le Dialogue des orateurs, *«Latomus»*, 14 (1955), стр. 349—359.

⁵⁸ H. Baridon, Tacite et le Dialogue des orateurs, *«Latomus»*, 12 (1953), стр. 167—187.

⁵⁹ J. Frot, Tacite est-il l'auteur du Dialogue des orateurs? *REL*, 33 (1955), стр. 120—129.

⁶⁰ Cp. H. Baridon, De nouveau sur Tacite et le Dialogue des orateurs: les critères grammaticaux et stylistiques, *«Latomus»*, 12 (1953), стр. 485—495.

⁶¹ A. Mazzarino, Brevissime sul Dialogus de oratoribus, *«Helikon»*, 1 (1961), стр. 165 сл., 317—321.

⁶² V. Capocci, Il Dialogus de oratoribus — opera giovanile di Tacito, *«Annali della Facoltà di Lettere d. Univers. Napoletana»*, 2 (1952), стр. 79—136; P. Smiralia, Il Dialogus de oratoribus — cronologia e rapporti con Quintiliano, там же, 5 (1955), стр. 159—189; обе статьи были нам недоступны, но последняя из них подробно разобрана Параторе — *RCCM*, 2 (1960), стр. 69—78.

вано А. Бардоном в *REL* (1941), стр. 113—131; теперь оно подтверждено тщательным анализом важнейших параллельных мест в статье Р. Гюнгериха⁶³. Сложнее обстоит дело с установлением *terminus ante quem*. Р. Брюэр⁶⁴ берет за отправную точку «Панегирик» Плиния (100—101 гг.); исследуя его параллели (даже самые отдаленные) с «Агриколой» и «Германией», с одной стороны, и с «Анналами», с другой стороны, Брюэр устанавливает приемы реминисценций, характерные для Плиния и для Тацита, и с этим опытом подходит к параллелям «Панегирика» с «Разговором» и «Историями»; результат убеждает, что в параллелях с «Разговором» заимствующей стороной был Плинний, а в параллелях с «Историями» — Тацит; следовательно, «Разговор» появился до 101 г., а первые книги «Историй» — после 101 г. Р. Гюнгерих, проверяя и уточняя анализ Брюэра, приходит к тому же выводу⁶⁵. Однако Сайм не считает эту аргументацию убедительной и полагает, что «Разговор» написан в 102 г. (консульство Фабия Юста), а опубликован, может быть, даже в 106—107 гг.: этим и объясняется близость настроения «Разговора» и «Анналов», смущавшая Параторе. Датировку Сайма принимают и К. Барвик и А. Мишель. Однако основной довод Параторе — цицеронианский стиль «Разговора», столь неожиданный в пору работы над «Историями» — продолжает беспокоить исследователей: традиционные ссылки на то, что разница стиля зависит от разницы жанра, кажутся недостаточными, чувствуется необходимость по-новому осмыслить место «Разговора» в развитии тацитовского стиля. Такое осмысление дает статья Ж. Перре «Становление стиля Тацита»⁶⁶. Путь Тацита — это путь от эстетики прекрасного (мера и гармония, основанные на разуме) к эстетике высокого (необычность и неожиданность, движимые чувством). Начало этого пути — «Германия» в стиле Сенеки и «Агрикола» в стиле Саллюстия; конец пути — «Истории» и «Анналы» в собственном, неповторимом тацитовском стиле; и на этом пути к высокому непременной ступенью должен был быть Цицерон, образец пафоса и широты, без которых Тацит не справился бы с большими сочинениями. Эта «цицероновская» ступень формирования большого стиля и

⁶³ R. Güngerich, Der Dialogus des Tacitus und Quintilians Institutio Oraturia, *CP*, 46 (1951), стр. 159—164.

⁶⁴ R. T. Brüere, Tacitus and the Pliny's Panegyricus, *CP*, 49 (1954), стр. 161—179.

⁶⁵ R. Güngerich, Tacitus' Dialogus und der Panegyricus des Plinius, «Festschrift Bruno Snell», Münch., 1956, стр. 145—152.

⁶⁶ J. Perret, La formation du style de Tacite, *REA*, 56 (1954), стр. 90—120.

представлена в творчестве Тацита «Разговором об ораторах».

Как понимание раннего творчества Тацита зависит от датировки «Разговора», так и понимание позднего Тацита упирается в вопрос о хронологии «Анналов». Здесь, как и прежде, главным указанием служат слова II, 61,2: (*imperium Romatum*) *nunc rubrum ad mare patescit*. Сайм вслед за большинствомcommentatorов отождествляет *rubrum mare* с Персидским заливом, и это помогает ему отодвинуть I—III книги «Анналов» к 116 и 117 гг., поближе к адиановскому времени. Но Параторе по примеру Маркези и Парибени считает, что Тацит имел в виду выход римлян к Красному морю после завоевания Петрейской Аравии в 105—106 гг., и этот взгляд приобретает все больше сторонников. Во всяком случае, он убедительней, чем гипотеза О. Клазона, развитая К. Майстером⁶⁷, согласно которой «выход к Красному морю» означал лишь административное включение гаваней Береники Троглодитской и Миосторма в Египетскую провинцию: К. Уэлсли⁶⁸ на большом материале показал, что побережье Красного моря считалось римским владением еще в I в. н. э. и что Тацит, по-видимому, просто спутал действительное продвижение ниильской границы от Филе к Додекасхепам с тем выходом к Красному морю, о котором столько говорили после завоевания Аравии. К этому мнению присоединяется и Ж. Божё⁶⁹ в обстоятельной статье, систематизирующей все мнения, высказанные когда-либо по данному вопросу: первые книги «Анналов» писались не раньше 106 г. (завоевание Аравии) и не позже 114 г. (упоминание независимой Армении в II, 56, 1); по-видимому, начало работы над «Анналами» относится к 108—109 гг. (в 107 г., судя по письмам Плиния, Тацит еще дописывал «Истории»), а конец — к 117—120 гг. (на 12 книг «Историй» Тацит потратил 6—8 лет, на 18 книг «Анналов» — 9—12 лет); таким образом, намеки в «Анналах» на события времен Адриана маловероятны — это самый слабый пункт в гипотетических построениях Сайма.

Вряд ли есть надобность рассматривать в настоящем обзоре две популярные книги, цель которых — суммировать современные научные взгляды на Тацита в сжатом очерке для начинающих. Одна из этих книг написана П. Вуймьером (отчасти по неизданным материалам Ф. Фа-

⁶⁷ K. Meister, Zur Datierung der Annalen des Tacitus und zur Geschichte der Provinz Aegypten, *«Eranos»*, 46 (1948), стр. 94—122.

⁶⁸ K. Wellesley, The Date of Composition of Tacitus' Annals, II, RhM, 98 (1955), стр. 135—149.

⁶⁹ J. Beaumé, Le *mare rubrum* de Tacite et le problème de la chronologie des Annales, *REL*, 38 (1960), стр. 200—235,

биа)⁷⁰, другая, более многословная и поверхностная, — К. Менделлом⁷¹. Следует однако, отметить, что даже в этих сравнительно консервативных работах видны сдвиги по сравнению с традиционными взглядами: П. Вуймьер, вопреки Фабиа, признает, что Тацит пользовался источниками многими и разнообразными (в этом его поддерживает Сайм, особенно настаивающий на том, что Тацит непосредственно опирался на сенатские протоколы); К. Менделл, вопреки Моммзену, признает, что сведения Тацита о военных событиях толковы и разумны (в этом его поддерживают и Параторе и Сайм, подробно разбирающие тацитовское описание кампаний 69 г.). Иными словами, Тацит последовательно реабилитируется по всем статьям обвинений, предъявленных ему XIX веком.

Это стремление к реабилитации Тацита затронуло и другого историка, который жил в то же время и писал о том же времени, что и Тацит, именно — Светония. Здесь положение было сложнее, потому что Светония приходилось реабилитировать не только как историка, но и как писателя. В представлении XIX в. (нашем классическом выражение в книге F. Leo, *Die griechisch-römische Biographie*, Lpz, 1901) основой биографий Светония была стандартная схема рубрик и подрубрик, унаследованная от «александрийской традиции» и механически применяемая к любому материалу. Неосновательность такого представления об «александрийской традиции» выяснилась еще в 20—30-х гг. в работах Вайцзекера, Укскула-Гилленбанда, Стюарта и др. Неосновательность такого представления о Светонии раскрывается в работах современных исследователей.

Первым шагом в этом направлении была книга В. Штайдле «Светоний и античная биография», подготовленная еще в 1945 г. и изданная в 1951 г.⁷². Задачей автора было показать, что схематическая топика Светония не насищенно перенесена на его материал извне, а органически из него вырастает. Штайдле исходит из противоположения греческого и римского «духа» в биографии: греческая биография проникнута интересом теоретическим, философским, в центре ее внимания — душевые качества и черты характера; римская биография руководствуется интересом практическим, политическим, в центре ее внимания — действием, *res gestae*. Значение Светония в том,

⁷⁰ Ph. Phabiа et P. Willemeier, Tacite: l'homme et l'œuvre, Р., 1949, 174 стр. (Le livre d'étudiant, 25).

⁷¹ C. W. Mendell, Tacitus: the Man and His Work, N. Haven, 1957, 397 стр.

⁷² W. Steidle, Sueton und die antike Biographie, Münch., 1951, 188 стр. («Zetemata», I).

что он нашел для этого «римского духа» наиболее естественную литературную форму; сама же эта форма рубрицированной биографии развила из энкомия, и следы ее явственны и в досветониевской традиции политических жизнеописаний (автор подробно разбирает «Избрание Цезаря» Николая Дамасского, Непотову биографию Аттика и Плутархову биографию Перикла). Но схема рубрик не исчерпывает содержания биографий: их мотивы связанны единным композиционным замыслом, пронизаны «сквозными мыслями», построены в последовательности градаций с кульминациями и концовками. Это показано на примерах из биографий Цезаря, Калигулы и других императоров; в сожалению, этот конкретный анализ композиционных приемов проводится в книге Штайдле слишком бегло, теряясь среди отвлеченных замечаний о признаках «римского духа» в биографиях. Между тем именно на этом пути могут быть сделаны самые интересные наблюдения. Доказательство тому — большая статья Р. Ханслика с анализом биографии Августа⁷³: нарочно остановившись на той биографии, которая считается самым развернутым примером светониевского схематизма, автор показал в ней стройное идеиное единство: в разделе об общественной деятельности — противопоставление молодого деспотического «Цезаря» и зрелого «Августа», основателя благородного принципата; в разделе о личной жизни — противопоставление слабого тела и сильного духа; над всем этим — мотив предопределенного апофеоза.

Толчком к более конкретному исследованию творчества Светония в его социально-исторической обстановке послужило редкое в изучении античной литературы пополнение биографического материала о Светонии. В 1950 г. при раскопках в Гиппоне Регии на форуме были найдены обломки надписи, вошедшей потом в АЕР, 1953, № 73. В реконструкции Марека и Пфлаума⁷⁴ они читаются так: «C. Suetoni[o]... fil[io]... Tra[n]quillo, f]lamini[ni]... adlecto] int[er] selectos a di]vo Tra[i]ano Parthico, p]on[t.] Volca[nal]i... [a] studiis, a byblio[thecis, ab e]pistulis [Imp. Caes. Trajan]i Hadrian[i Aug. Hippo]nenses Re]gii d. d. p. r.». Эта надпись позволяет установить следующие факты карьеры Светония. Во-первых, при Адриане он занимал должность *ab epistulis* как по греческому, так и по латинскому языку, а не только по латинскому, как считали Масе и Фунайоли (более того, можно думать, что само разделение должностей *ab epistulis graecis* и *latinis* начина-

⁷³ R. Hanslik, Die Augustusvitae Suetonis, WSt, 67 (1954), стр. 99—144.

⁷⁴ E. Marek, H. Pflaum, Nouvelle inscription sur la carrière de Suetone, l'historien, «Comptes rendues de l'Académie des Inscriptions», 1952, стр. 76—85.

ется лишь с 166 г., с разделения власти между Марком Аврелием и Луцием Вером; единственное более раннее назначение Евдемона *ab epistulis graecis* 128—132 гг. было, по-видимому, временной мерой в связи с восточной поездкой Адриана⁷⁵). Во-вторых, этой должности Светония предшествовали две более ранних, *a studiis* и *bybliothexis* (как и у его преемников по должности *ab epistulis*, Юлия Вестина и Волосия Меццана): можно думать, что Светоний занимал их не последовательно, а одновременно⁷⁶; но даже и в этом случае карьера Светония представляется слишком стремительной для короткого промежутка между 118 г. (прибытие Адриана в Рим) и 122 г. (отставка Светония, SHA, Hadr., 11, 3), особенно если до *a studiis* Светоний прошел еще какую-то должность, название которой выпало в пакуне. Решение можно искать в двух направлениях: Г. Тауненд предполагает, что надпись небрежно составлена и первые должности Светоний получил еще при Траяне; Дж. Кука предполагает, что данные SHA ошибочны, и Светоний лишился поста *ab epistulis* не в 122, а в 128 г., успев, таким образом, побывать с Адрианом в Африке, где его за какую-то услугу и почтили статуей гиппопонты⁷⁷. Первый вариант убедительнее. В-третьих, до начала этой придворной карьеры, еще при Траяне (но, видимо, уже после смерти Плиния Младшего, который об этом молчит) Светоний был членом какой-то коллегии *selectorum (iudicium?)* — Ф. Гроссо предлагает читать *[adlecto] int[er] comites]*, флавианном неизвестного божества и потом понтификом Вулкана. Это тоже странно: к флавианату в Риме всадники не допускались, а понтификата Вулкана в Риме не было. Приходится предположить, что или терминология надписи неточна, или, вопреки обычью, в *civis* включены жреческие должности какого-то муниципия. В последнем случае упоминание о понтификате Вулкана прямо указывает на Остии; и если это так, то отсюда следует важный хронологический вывод. Мы знаем, что в 127 г., если не раньше, остийским понтификом Вулкана был Эгрилий Плиян (CIL, XIV, 4445); стало быть, к этому времени Светония уже не было в живых; следовательно, он умер не позже 126 г., а не в 140—160 гг., как думали

⁷⁵ G. B. Townend, The Post *ab epistulis* in the Second Century, «Historia», 10 (1961), стр. 375—381.

⁷⁶ E. van't Dack, *A studiis — a bybliothexis*, «Historia», 12 (1963), стр. 177—184.

⁷⁷ G. B. Townend, The Hippo Inscription and the Career of Suetonius, «Historia», 10 (1961), стр. 99—109. Статья Кука (J. B. Cook) в «Proceedings of Cambridge Philological Society», 4 (1956/1957), стр. 18—22, была нам известна лишь в пересказе Тауненда.

раньше, и вся масса его сочинений была написана не после отставки, а в годы молодости и службы⁷⁸. Вывод интересный, но, как легко видеть, в высшей степени гадательный.

Новые биографические сведения напомнили исследователям, что Светоний был не только книжником-антикваром, каким его представляли Массе и Фуайоли, но и участником политической жизни, не менее тесно связанным с современностью, чем Тацит. С этой точки зрения Ф. Делла Корте попытался пересмотреть традиционный образ Светония: его книга называется «Светоний — римский всадник»⁷⁹, и в ней он противопоставляет Светония с его идеологией «нового человека» на императорской службе представителям отжижающей сенатской, аристократической идеологии — Плинию и Тациту. К сожалению, книга осталась нам недоступна; судя по рецензиям, противопоставление получилось слишком натянутым; однако самая мысль подойти к «Цезарям» с точки зрения политических проблем эпохи, изложенных в «Панегирике» Плиния, безусловно, плодотворна и представляется шаг вперед по сравнению с внеисторическим теоретизированием Штайдле. В частности, Делла Корте снимает со Светония распространенное обвинение в наивном суеверии: его бесчисленные справки о знамениях порождены не личными вкусами автора, а профессиональным интересом политика и антиквара, знающего, какую роль играет *religio* в общественной жизни. Другой ходячий упрек такого же рода снимает со Светония Ж. Куассен в статье на неожиданную тему — «Светоний-физиognомист»⁸⁰: он показывает, что справки о внешнем облике императоров, на вид столь сухие и однообразные, при помощи античных трактатов по физиогномике легко расшифровываются как дополнительные указания на черты характера, свойственные тому или иному императору, и, таким образом, органически входят в ткань биографии.

Эта тенденция к переоценке Светония не обошлась без противодействия. Э. Параторе категорически объявил, что программа реабилитации Светония, выдвинутая Штайдле и Делла Корте, не оправдывает себя, что недостаточно переименовать его недостатки в достоинства и что

⁷⁸ F. Grossi, L'epigrafe di Ipponio e la vita di Svetonio, *Rendiconti dell'Accad. Lincei, cl. di sc. morali*, сер. 8, т. 14 (1959), стр. 263—296.

⁷⁹ F. Della Corte, *Svetonio — eques Romanus*, Milano — Varese, 1958, 231 стр. (Biblioteca storica universitaria, сер. II, т. 8). Рец.: AJP, 80 (1959), стр. 328—330; JRS, 49 (1959), стр. 202; REL, 36 (1958), стр. 324—327.

⁸⁰ J. Coussin, *Suétone physiognomoniste dans les vies des XII Césars*, REL, 31 (1953), стр. 234—256.

пора вернуться к традиционному представлению о Светонии — педанте и обычвателе; все достоинства, которые можно найти в Светонии, принадлежат не ему, а его источникам, сам же он только портит их стройную связность своими мертвыми схемами⁸¹. Параторе говорит главным образом о содержании биографий; его ученик Дж. д'Анна с такой же точки зрения подходит к их формальной стороне, утверждая, что для стиля Светония характерны только рубленые фразы-перечни, а такие стройные рассказы, как описание гибели Цезаря или Нерона, целиком восходят к его источникам⁸². Впрочем, главное внимание д'Анна уделяет не практике, а литературной теории Светония: он выделяет из его сочинений все суждения о писателях, сопоставляет их с суждениями Квинтилиана и приходит к выводу, что Светоний во всем основном примыкает к цицеронианским вкусам Квинтилиана, а если и отклонялся от них, то лишь затем, чтобы вместо Квинтилиана следовать самому Цицерону (например, в интересе к республиканской поэзии или в осуждении Саллюстия). Наблюдения д'Анна не лишены интереса; думается, однако, что лучший путь к пониманию литературной позиции Светония лежит не через разбор его разрозненных критических замечаний, а через анализ его собственной литературной практики; по-именно этот путь д'Анна сам закрывает перед собой наивной априорностью разделения «Светония» и «источников». Возврат к оценкам XIX в. еще раз показывает свою неплодотворность.

Две статьи Г. Тауненда о Светонии находят интересный новый материал для разрешения старых вопросов о датировке и об источниках его биографий. Автор не первый обращает внимание на разницу в стиле повествования между первыми и последними биографиями цикла (в «Цезаре» и «Августе» изложение подробно, со многими цитатами из источников, в дальнейших же биографиях — все более суммарно, имена и детали выпадают, источники не приводятся); но он первый делает из этого хронологические выводы⁸³: первые две книги биографий (с посвящением Сентицию Клару) были подготовлены и изданы во время придворной службы Светония, когда он мог пользоваться архивами, остальные — после отставки, когда он располагал только тем материалом, который был собран заранее и остался неиспользованным. Точно так же Тауненд не первый отмечает сравнительное

⁸¹ E. Paratore, Claude et Néron chez Suétone, RCCM, 1 (1959), стр. 326—341.

⁸² G. d'Anna, Le idee letterarie di Svetonio, Fir., 1954, 231 стр.

⁸³ G. Townend, The Date of Composition of Suetonius' *Caesares*, CQ, 9 (1959), стр. 285—293.

обилие греческих цитат у Светония, но он первый делает вывод, что по этому признаку можно выделить среди источников Светония автора, который приводил греческие сентенции своих персонажей в подлиннике, тогда как в других источниках они, как обычно, переводились на латинский язык⁸⁴. «Грецизирующий» источник Светония автор отождествляет с Клувием Руфом, «латинизирующий» — с Плинием Старшим, и на этом основании разделяет между ними различные версии убийства Клавдия, убийства Британника и пожара Рима.

Многочисленные статьи, посвященные реконструкции отдельных исторических событий с помощью данных Тацита и Светония, обычно лишь немногое дают для понимания метода историков, и поэтому могут здесь не рассматриваться. В заключение следует лишь кратко упомянуть о состоянии изучения рукописного предания Тацита.

В этой области за последние полтора десятилетия произошли два важных события. Первым из них было открытие К. Менделлом лейденской рукописи Тацита (L), сильно отклоняющейся от общей традиции, восходящей к медицейской рукописи М. Новая рукопись (Leidensis BPL 16.B., XV в.) принадлежала в XV в. Родольфу Агриколе, была использована Рейком для издания Тацита 1687 г. и с тех пор надолго была потеряна из виду. Она содержит Ann., XI, 1—Hist., V, 23, причем ее текст дает несколько сотен различий, среди которых наряду с заведомыми портами есть множество лучших вариантов (часто совпадающих с позднейшими конъектурами издателей и комментаторов). На этом основании Мендэлл решился утверждать, что L представляет собой ветвь рукописного предания, независимого от M или только частично контаминированного с M⁸⁵. Э. Коэстерманн, несмотря на свой обычный осторожный консерватизм, присоединился к этой смелой гипотезе⁸⁶ и принял многие чтения L в новое издание «Анналов», выпущенное им в тейблеровской серии в 1960 г. Однако общего признания такой подход к новой рукописи еще не получил.

⁸⁴ G. Townend, The Sources of Greek in Suetonius, «Hermes», 88 (1960), стр. 98—126.

⁸⁵ C. W. Mendell, S. A. Ives, Ryck's Manuscript of Tacitus, AJP, 72 (1951), стр. 337—345; C. W. Mendell, Leidensis BPL 16. B., Tacitus XI—XXI, AJP, 75 (1954), стр. 250—270.

⁸⁶ E. Koestermann, Codex Leidensis BPL 16. B — ein von Mediceus II unabhängiger Textzeuge des Tacitus, «Philologus», 104 (1960), стр. 92—115.

Вторым событием в изучении текста Тацита была работа Ж. Перре⁸⁷ о «Германии». Автор уточняет картину родства между семьями сохранившихся рукописей, доказывает, что оригиналы этих семей были списаны не непосредственно с cod. Negerfeldensis (H), а с его копии, сделанной Энеем Сильвием около 1458 г., прослеживает историю «предков» H вплоть до «13-буквенного» архетипа IV—V вв. и пытается восстановить рукописные дублеты в H, породившие разнотечения существующих рукописей. Для установления стандартного текста «Германии» работа Перре дает мало, но по ювелирной тщательности и осторожности реконструкции она надолго останется образцом текстологического анализа. Рядом с этими работами о тексте Тацита можно упомянуть книгу Ж. Райсхарта, посвященную издаельской технике Юста Липсия с тщательным анализом и классификацией всех чтений, восходящих к этому пионеру исследования Тацита⁸⁸.

Этот обзор далек от полноты⁸⁹. Интерес европейской филологии к Тациту неослабен: можно без риска сказать, что четыре пятых всей выходящей литературы о римских историках сосредоточены на двух именах — Тацита и Саллюстия. Не без основания А. Момильяно говорит о современном «перепроизводстве» тацитовской литературы («Gnomon», 33, 1961, стр. 55). Задача настоящего обзора — только в том, чтобы наметить основные направления в этой литературе и указать на те ее проблемы, которые представляют несомненный интерес для советских историков.

М. Л. Гаспаров

⁸⁷ J. Perré, Recherches sur le texte de la Germanie, P., 1950, 166 стр. («Coll. d'études latines, publ. par la Société des Etudes latines», série scientifique, 25).

⁸⁸ J. Ruysschaert, Juste Lipsse et les Annales de Tacite: une méthode de critique textuelle au XVI^e siècle, Louvain, 1949, XVIII, 222 стр. (Univ. de Louvain «Recueil de travaux d'histoire et philosophie», сер. 3, вып. 34).

⁸⁹ См. например, R. Hanslik, Tacitus: der Forschungsbericht, «Anzeiger für die Altertumswissenschaft» 13 (1960), стр. 65—102; C. W. Mendell, Tacitus-Literatur 1948—1953, «Classical Weekly», 48 (1955), 121—125; P. Willème, Tacite et la critique contemporaine, IL, 12 (1960), № 1, стр. 15—18; A. Garzetti, Sul problema di Tacito e Tiberio: rassegna, «Rivista storica Italiana», 67 (1955), стр. 70—80; K. Büchner в кн. K. Büchner — J. B. Hoffmann, Lateinische Literatur und Sprache in der Forschung seit 1937, Bern, 1951, стр. 159—170.